

A woman with long red hair, seen from behind, stands in a misty forest. She is wearing a white long-sleeved blouse with ruffles and a long red skirt. In the background, a two-story wooden house with a thatched roof and a balcony is built on a hillside. A stream flows through the forest floor. In the distance, a large, dark, gothic-style castle is visible on a mountain peak. The scene is atmospheric and somewhat somber.

# Пограничье

Тина Вереск

Тина Вереск  
**Пограничье**

«Автор»

2026

## **Вереск Т.**

Пограничье / Т. Вереск — «Автор», 2026

Мир — это ветхое полотно. Там, где городская суэта уступает место вековым лесам и гиблым топям, ткань истончается. И тогда сквозь дыры в наш мир смотрит Изнанка. «Пограничье. Сказы Пряхи» — сборник темного фольклора и мистического хоррора. Это истории-предостережения, собранные молодой Хранительницей на границе миров. Вас ждут встречи с духами Студёного моря, сибирскими колдунами и хтоническими тварями, обитающими под корнями деревьев. Сказки, которые не убаюкивают, а учат главному закону: если в лесу кто-то окликнул тебя по имени — не смей оборачиваться.

© Вереск Т., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Сказ о Хозяине камней	5
Глава 2	11
Глава 3	15
Глава 4	18

# Тина Вереск

## Пограничье

### Сказ о Хозяине камней

Веретено в пальцах Пряжи ходит плавно, с тихим, сухим шелестом — *ш-шурх, ш-шурх*. Кудель у нее не из мягкой овечьей шерсти. Вплетает она в нее жесткие стебли крапивы, седой мох да горькую полынь. Пряжа выходит колючая, злая, кожу до крови царапает. Из такой ни носков не связать, ни платка на плечи не кинуть.

Да только местные к ней за мягкой шерстью и не ходят.

Деревенские Пряхой-хранительницей ее кличут не за то, что без дела за прялкой сидит. Ведают они: мир наш — что полотно ветхое. Там, где лес к человеческому жилью подступает, где гиблые топи начинаются, ткань эта истончается до дыр. Из тех прорех сквозит стынью. Иномирьем. Навью.

Если кто из здешних в лесу оступился, не тому духу поклонился, или, не дай боги, с черной кромки что-то в дом приташил — к фельдшеру в район не едут. Бредут к ней. Идут, когда у коровы молоко сажей берется. Идут, когда мужик с охоты воротится, в угол забьется и третьи сутки в одну точку глядит, а тени своей на стену не отбрасывает.

Несут ей хлеб, соль, берестяные туеса с морошкой, топчутся у порога. Просят не только худую судьбу залатать. Сказов просят. Пряжа держит в памяти истории Пограничья, седую старину этих мест, и делится мудростью, дабы люди наперед знали, у какого черного камня шапку ломать не стоит и где незримую черту лучше не переступить.

И она берет свое веретено. Прядет слова, заговоры да мертвые травы, вяжет узлы на тех тропах, куда живому человеку хода нет. Сплетает чужую дурость в новые легенды.

А вот городских, туристов залетных, местные к ней гонят со страхом да нескрываемой злобой. Городские ведь — что слепые щенки в медвежьей берлоге. Наедут со своими железками мудреными да шатрами, шумят, по чаще свистят, деревья вековые топорами крестят, замки на древних капищах срывают. Они в сказки не верят. А сказкам-то и дела нет, верят в них али нет — они просто жрут тех, кто здешнего закона не ведает.

Местные лишь хмурятся да кивают в сторону черной кромки: — Иди, мил человек, на пустошь. За кривой березой дом стоит. Там Пряжа живет. Она память этих мест держит и с изнанкой говорить умеет. Если кто со злачным местом и сговорится, чтоб твою шкуру выкупить, да уму-разуму научит, так только она. А к нам не суйся, не накликай.

И они бредут к ней. Проваливаясь в мох, дрожа от каждого крика ночной птицы. Стучат в ее тяжелую дверь.

Задвижку Пряжа открывает не сразу. Даст им постоять на ветру, послушать, как лес за спинами чужим дыханием дышит. А потом пустит к очагу. Нальет травяного взвара, придвинет прялку поближе. Для всех, кто переступает ее порог — и для здешних, и для пришлых — у нее одно угощение.

Посмотрит она на гостя холодными, ясными глазами и скажет: «Ну, сказывай, где ты нить порвал. Будем узел вязать. Да слушай сказ внимательно, чтобы в другой раз топи на корм не пойти».

\*\*\*

#### **Узел первый. Сорванный замок**

Белое море местные не для красного словца Студёным кличут. Городским того не уразуметь — они в нем воду видят. А воды там нет, одна стынь тяжелая да память тех, кто на дно

ушел. Здесь время не по прямой нитке бежит, оно в узлы завязывается. Как те «вавилонны» — каменные кольца на мшистых берегах, что до прихода креста и веры тут положены были.

Андрей привез ватагу свою на Безымянный остров Кузовов в самую макушку лета. Из тех он был людей — пустых, звонких. Уверенных, что раз у них в руках приборы заморские да таблицы с цифирью, так им и леший не брат, и камень не указ. Слепые глупцы, решившие спящему медведю зубы пересчитать.

Вышли они на северный мыс, где ветер всегда солью сечет. Лежит перед ними старый «вавилон». Валуны черные, ягелем побитые, в спираль скручены, а в самом сердце — Сейд. Камень-замок. Гнёт, которым дыру в Навь прижали.

Смотрит на него Андрей в свои приборы и губы кривит.

— Криво лежит, — говорит. — Не по оси полуночной. Сместило его льдами. Надо бы поправить, чтоб замеры чистыми вышли.

Маринка, девка из их ватаги, попятилась. У нее бабка из вепсов была, порода-то помнит. Поблуднела вся, руками замахала:

— Не трожь, Андрюша. Старожилы сказывали — это путы. Они держат то, чему на белый свет хода нет.

Да разве ж звонкий услышит? Засмеялся только. Мелко так, пакостно для здешней вековой тишины засмеялся.

Позвал ребят своих. Обступили они Сейд тёплым своим мясом. Уперся Андрей берцами в мох вековой, ладони на мертвый гранит наложил. Поднатужился.

И не камень по земле заскрежетало. Раздался звук долгий, утробный — будто под островом жилу перервали. Хрустнуло сухо. Ухнул валун и сдвинулся на полшага.

И всё. Сразу стало всё.

Стынь ударила такая, что в ушах звоном пошло. Ветер, что секунду назад штормовки рвал, будто ножом срезало. Чайки над водой кричать перестали — стерло их. Воздух сделался густым, тяжелым, потянуло от земли гнилой таволгой и озоном, как перед страшной грозой.

Андрей лоб утер, скалитесь:

— Сделали.

А сам не видит, дурак слепой, как из-под брюха камня, из раны разверзшейся, пыль потекла. Серая, сухая морока. Не по ветру пошла — сама к его сапогам потянулась. Осела, в сукно въелась, под кожу скользнула.

Он на ладони свои глядь — а они серые, словно в золе чумазые. Трёт их, трёт, а холод липкий уже внутрь пошел, к костям подбирается.

— Похолодало как-то не по-июльски, — бормочет. Голос тусклый стал, как неживой.

Не оборачиваясь ушли. А обернулись бы — узрели, как ягель вокруг лабиринта вмиг посерел и в мертвую труху рассыпался.

*Väki* — дух камня, сила слепая и жадная — из-под сорванного замка вырвалась. Земля пустоты не терпит. Раз ты старую крышку сдвинул, значит, сам ею станешь.

К вечеру Андрей в первый раз споткнулся.

— Ноги, — говорит, — как чугунные. А это не чугун был. Это Навь в нем корни пускала.

### **Узел второй. Минеральный пот**

К ночи стоянку на Безымянном накрыло такой глухой тишиной, что впору было умом тронуться. Ни всплеска волны, ни шороха мыши в ягеле. Словно остров под стеклянный колпак сунули.

Первым неладное почувал Олег. Проснулся от того, что в соседнем шатре, где Андрей почивал, что-то скрежетало. Звук такой поганый, монотонный — так жернова на старой мельнице трутся, когда зерна меж ними нет, один камень о камень бьет.

Олег фонарик засветил, полог откинул, да так и замер.

Андрей сидел на лежанке, спина прямая, как кол проглотил. Глаза открыты, в темноту таращатся, а в них ни искры, ни страха — мутные стали, как галька речная. И трет свои ноги ладонями. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Оттого и скрежет идет.

— Андрюха, ты чего? — Олег шепчет, а у самого язык к нёбу прилип.

Андрей голову на него повернул. Медленно, с натугой. Шея у него хрустнула громко, сухо. — Холодно, — говорит. А голос из него выходит не через связки, а будто из глубокого колодца эхом глухим тянет. — Ноги не гнутся. Стынут.

Олег свет фонаря на его ноги перевел и попятился. Кожа на лодыжках Андрея серой стала, матовой. Ни волоска на ней не осталось, ни жилки не видать. И по этой серости кольца вдавленные проступили. В точности тот узор, что они днем в «вавилоне» видели.

Сполошились остальные. Засуетились, заохали, а толку-то? Маринка, вепсская порода, сразу в слезы ударилась — уразумела, что не хворь это человеческая.

К утру Андрей ходить перестал. Тяжесть в нем налилась невероятная. Попытался Пашка его под мышки взять, чтоб до воды довести, да чуть спину не надорвал.

— В нем пуда восемь весу! — кричит Пашка. — Да что ж это делается-то?!

А делалось вот что. Навь, что он из-под камня выпустил, свое брала. Ей пустой сосуд не надобен, ей плотность подавай. *Väki* камня вытесняла из Андрея жизнь по капле.

В шатре дух тяжелый повис. Запахло не невымытым телом, а старым склепом да мокрым щебнем. На лбу у Андрея испарина выступила. Только пот этот не водой был. Сорвалась одна капля с подбородка на миску, что на полу валялась — «дзинь!». Звонко так ударила. Маринка каплю ту пальцем тронула, а это и не вода вовсе. Шарик твердый. Кремний.

Человек на глазах в породу горную переходил.

— К местным пойдем, — сглотнув, сказал Олег. — К поморам. Если кто и ведает, как эту дрянь вытравить, так только они.

Тащили его до лодки вчетвером, волоком, по мху. Андрей молчал. Только дышал со свистом — шурх-шурх, как песок осыпается. Когда в лодку его сгрузили, борта так глубоко в воду ушли, что волна чуть через край не плеснула.

Оставили они пустую стоянку на острове и пошли к материку, молясь своим городским богам, кои на Севере отродясь не водились.

### **Узел третий. Поморский берег**

Шли они тяжело. Лодка с мотором, на четверых слаженная, едва не черпала бортами свинцовую воду — так тянул ко дну Андрей, налившийся каменной стынью. Остров Кузов таял в тумане позади, а впереди проступал из мглы материк: горстка почерневших от времени и соли изб, вцепившихся в скалы, как лишайник.

На берегу их встретил старый помор. Стоял у перевернутой просмоленной карбаски и неспешно распутывал сеть. Даже головы не поднял на гул мотора. Только когда лодка ткнулась носом в гальку, а Олег с Пашкой, надрываясь и хрипя, попытались выволочь Андрея на берег, старик воткнул костяное шило в бревно и подошел ближе.

— Помогите, дед! — закричала Марина, размазывая по лицу слезы пополам с солеными брызгами. — Ему худо! Отравился чем-то, ноги отнялись...

Помор остановился в двух шагах. Глаза у него были выцветшие, как старый лед на полынье. Посмотрел он на серую, безжизненную кожу Андрея, на вдавленные кольца, опоясавшие его лодыжки, и сплюнул под ноги.

— «Вавилон» шевелили? — голос у старика был тихий, но от него по спине мороз продрал.

Олег открыл было рот, чтобы рассказать про компасные стрелки да оси, но слова застряли в горле. Взгляд помора их просто выжег. Здесь такие слова не живут, они на морозе в труху осыпаются.

— Пустые головы, — без злобы, а с какой-то вековой тягостью промолвил дед. — *Väki* камня в него вошла. Вы не просто валун сдвинули, неразумные. Вы крышку с колодца сняли. А земля сквозняков из Нави не терпит.

Старик присел на корточки подле Андрея. Тот дышал еле слышно, с каменным шорохом, уставившись бельмами в серое небо. Помор щелкнул согнутым пальцем по его колену. Раздался глухой стук, будто кость о гранитный монолит ударились.

— Хийси его заметил, — сказал старик, поднимаясь. — Замок в лабиринте — это гнёт. Ему тяжесть нужна, чтобы тьму держать. Раз вы камень спихнули, лабиринт себе новый центр ищет. И нашел. К завтрашнему утру парень ваш сейдом станет. Обрастет мхом да будет остров стеречь до скончания веков.

Марина зажала рот руками, крик давя. Пашка побледнел так, что веснушки на носу черными точками проступили.

— Вылечи его, отец! — Олег шагнул вперед, сжимая кулаки. — Заплатим, сколько скажешь! В город увезем, к лекарям...

— На каменоломню его вези, — отрезал помор. — Нет от этого леченья. Травки тут не помогут, и кровь ему не перельешь — у него в жилах сейчас горная смола стынет. Единственное, что закон здешний признает — это Обмен.

Ветер завыл над берегом злее, швыряя в лица колючий песок.

— Камень не отдаст добычу за просто так, — старик смотрел мимо пришлых, куда-то в сторону беспокойного моря. — Замок надо на место воротить. Туда же, в центр. Но повернуть это должны те же руки, что его ломали. Андрея вашего обратно на остров тащить придется.

— Мы не донесем, — с ужасом выдохнул Павел. — Он к вечеру тонну весить будет.

— Значит, ляжете там рядом с ним, — равнодушно ответил старик. — Но и это полбеда. Чтобы дух камня из плоти вышел, каждому из вас придется откуп дать. Положить в центр лабиринта то, без чего вы свою жизнь не мыслите. То, на чем душа держится.

Помор развернулся и медленно пошел к своей избе, бросив через плечо:

— Времени у вас до заката. Как солнце в воду сядет — он к лодке намертво прирастет.

Городские остались одни на сером берегу, оглушенные ревом волн. Андрей смотрел вверх слепыми глазами, и на его щеках медленно, словно иней, проступала серая каменная пыль. Выбор был прост: отдать часть себя древней хтони али смотреть, как друг становится памятником их собственной гордыне.

#### **Узел четвертый. Слепой откуп**

Солнце уже цеплялось красным, рваным брюхом за верхушки елей на материке, когда их перекошенная лодка ткнулась обратно в берег Безымянного острова.

Они не несли Андрея — они его волокли. Подложили под спину штормовки и тянули, надрывая жилы, хрипя от натуги и животного страха. Когда Андрей цеплялся онемевшей ногой за корни, раздавался не влажный звук удара плоти, а сухой, высекающий искры лязг. Весь его вес тянул вниз, в землю, словно остров уже признал в нем свою породу и отказывался отпускать.

К центру лабиринта они добрались, когда сумерки начали сгущаться, выпивая из мира краски. Воздух над «вавилоном» дрожал и пах озоном, как перед страшной грозой. Открытая дыра в Навь дышала им в лица могильной сыростью.

Сдвинутый Сейд лежал на мху, словно вырванный зуб.

— Кладите его руки на камень, — прохрипел Олег, падая на колени. Его трясло.

Пальцы Андрея не гнулись. Были они серыми, гладкими, лишенными ногтей и тепла. Ребята навалились поверх его окаменевших кистей своими потными, дрожащими ладонями.

— Толкаем!

Но камень стоял мертво. Вокруг них, в черных петлях лабиринта, начал сгущаться туман. Он полз по спиральям, как живой, подбираясь к их ногам. В этом тумане мелькали тени — длинные, изломанные. Хозяин пришел за данью.

В ушах звенели слова старого помора про Обмен. Но как отдавать? Что отдавать? Городские привыкли бумажками откупаться, где цифирь прописана, да бумаги с печатями подписывать. А здесь не было ни ценников, ни грамот. В нутряной, первобытной жути, видя, как тени из тумана тянутся к их ногам, они просто прижались лбами к ледяному граниту.

— Бери, что надо! — закричал Олег в стылую пустоту, глотая слезы. — Что хочешь бери, только отпусти его!

Не ведали они, что с хтонью нельзя торговаться вслепую. Камень под их руками вдруг зашелся обжигающим холодом. Каждый из троих почувал, как глубоко внутри, под самыми ребрами, вонзился невидимый ледяной крюк.

А затем он просто дернул.

Без телесной боли, без крови. Внутри каждого раздался сухой, неслышный уху хруст рвущейся нити. Какая-то огромная, зияющая пустота вмиг образовалась в груди, но разбираться в ней было недосуг.

Гранитный Сейд вдруг скользнул по земле легко, словно по мыльному льду. Встал он точно в центр, в свою вековую лунку, с чавкающим, глухим звуком захлопнутой пасти.

И тогда Андрей закричал.

Возвращаться из камня в плоть оказалось больнее, чем помирать. Серая кожа его пошла трещинами, из коих брызнула густая, горячая кровь. Кости ломались и срастались заново. Он извивался на мокром мху, раздирая горло диким, нечеловеческим воем, пока, наконец, не обмяк, тяжело и влажно дыша.

Он снова стал человеком. Теплым, мягким, живым. Товарищи подхватили его под руки и поволокли к лодке, плача от радости и облегчения. Мнилось им, что они саму смерть обманули. Не знали они еще, что смерть — это не самое страшное, что может случиться на Пограничье.

Да только разумение к ним не на острове пришло. Нагнало оно их в городе, за каменными стенами, когда ледяной крюк слепого Обмена потянул свою добычу во тьму.

Маринка в дом свой воротилась, да кисти больше в руки не брала. Городские лекари на то умные слова говорили, про хвори душевные. А я-то знаю: камень ей *истинное* зрение даровал. Заперлась девка в четырех стенах, зеркала тряпицами завесила. Днями и ночами она ползала по полу, выцарапывая на половицах и штукатурке гиблые кольца «вавиллона». Когда соседи на жуткий вой сбежались и казенные люди дверь с петель сняли, нашли они Маринку посреди горницы. Сидела она нагая, раскачиваясь из стороны в сторону. Ногти на руках ее были стерты до кости, а вместо глаз в глазницах тускло поблескивали два гладких, обкатанных морем серых камушка. Она стала вратами. И сквозь эти камушки на наш мир теперь вечно смотрит Студёное море.

Олег, вожак их звонкий да бедовый, мерзнуть начал. В самую макушку лета, когда земля от пекла плавится, сидел он у раскаленной печи, в три тулупа кутаясь, и стучал зубами так, что эмаль трескалась. Камень выпил его нутряной огонь, его человеческое тепло. Потом у него перестала идти кровь — коли резал палец, оттуда сочилась густая, пахнущая гнилой водой сургучная жижа. В студеный ноябрь он просто вышел за порог. Нашли его поутру. Замерз насмерть, превратившись в ледяного истукана. Сказывают, когда труповозы неаккуратно бросили его на волокуши, рука Олега отломилась, и внутри, вместо костей и мяса, глухо звякнул гранитный щебень.

Павел исчезал долго, с великой маятой. Камень забрал его вес в этом мире. Его «вяки». Сперва он перестал отражаться в зеркальных стеклах лавочных. Потом голос его обернулся в тихий шелест, схожий с шуршанием сухого ягеля. Люди на улицах перестали его замечать, расталкивая плечами, словно пустое место. А опосля родная мать забыла, как его кличут. Он

истончился, стерся, как блеклый след на грязной бумаге. Бродит он до сей поры — прозрачный, скулящий от одиночества дух, запертый в Яви, на которого иной раз брешут дворовые псы.

А Андрей... Андрей в свою городскую жизнь воротился. На службу свою ходит, в сукно дорогое рядится, ест да пьет. Вот только молодая жена его поседела за один месяц и сбежала со двора, бросив все пожитки. Оттого, что по ночам, когда Андрей спал подле нее, грудь его не вздымалась. А когда она в жути немой приложила ухо к его ребрам, то вместо стука теплого человеческого сердца услышала, как глубоко внутри, в темной и сырой пустоте его тела, тяжело и монотонно трутся друг о друга два гранитных валуна. Жернова, кои вечно ищут новую кровь, дабы перемолоть ее в стынь.

\*\*\*

Пряха туго затягивает последний узел на нити и обрывает ее. Веретено замирает, ложась на колени. В избе повисает тяжелая тишина, прерываемая лишь треском сосновых поленьев в печи.

— Допивайте свой чай. На дне осталась самая горечь, но именно она лечит от гордыни. И запомните крепко: оказавшись на мшистом берегу, не ломайте чужих замков и никогда не говорите хтони «бери, что хочешь». Ибо она возьмет всё.

## Глава 2

### Гнилое Солнце

На дубовом столе Пряхи, что воском да сухой полынью насквозь пропитался, рядком с чугунной ступкой книга старая лежит. Страницы пожелтели, переплет истерся. Книжники городские, с коими она когда-то за одними столами сидела, крестом бы осенились, увидев свои мудреные труды бок о бок с медвежьим когтем да волчьей ягодой. Ведет она пальцем по строке: *«Спасение придет к тебе из отвергнутого. Твоё солнце поднимется из мутных болот»*.

Ученые мужи во всем иносказания ищут. Про тень душевную толкуют, про хвори потаенные, сидючи в светлых своих палатах. «Болота души», говорят. Да только здесь, на самой кромке, сказок не бают — здесь слова плоть имеют.

Городские спасения в чистоте ищут. В родниковой водице, в светлых храмах, в лечебницах хлоркой вымытых. Воротят нос от грязи, от гнили, от всего, что уродством да смертью смердит. Невдомек им, слепым, что светлая, бегучая вода лишь хворь смывает, а новой жизни не родит. Истинная, нутряная сила там зачинается, где всё бродит, преет да перерождается. В черном торфе. В глухой, непроглядной трясине.

И чтоб спасти то, что пуще глаза бережешь, иной раз надобно по локоть руки в ту самую топь всадить, от коей всю жизнь с брезгливостью отворачивался.

Чай в кружках ваших нонче густой, на корне аира да сабельнике болотном настоян. Сырой землей да тиной отдает. Пейте. Да слушайте сказ о том, как чистота не спасла, а уродливая хтонь жизнь вдохнула.

\*\*\*

Деревня та на сухом взгорке лепилась, избами за камни цеплялась, а сразу за кривой околицей Марь начиналась. Не просто болотце гиблое — воронка древняя, гнилью налитая, смертью дышащая. Местные Марь десятой дорогой обходили, даже отчаянные ягодуники дальше прибрежного криволеся носа не совали.

Стоялая там вода была, мертвая. Туман над черными окнами вечно висел — желтый, тяжелый, серой да прелым дубовым листом от него тянуло, а еще сладостью приторной, как от разрытой могилы. Старики шептали, мол, Марь та — провал в саму Навь, а на дне трясины Болотница сидит. Тварь седая, как этот мир, из ряски, лягушачьей икры да утопленников слепленная. Уродливая, пучеглазая, кожа жабья в трупных пятнах, а пальцы длинные да стылые, как подледная вода. Не просто топит она — душу вынимает, заставляет век болотным огоньком средь гнилушек маяться.

У вдовы молодой, Анны, сынишка занедужил. Сашке семь годков всего минуло, светлый, звонкий малец, а тут на глазах таять зачал. И не простуда то, от коей липовым цветом поят, и не огневица, что мокрым холстом сбивают. Тихая хворь, страшная. Кожа у мальчика как слюда стала, жилки синие проступили, глазенки ввалились, а губы черной коркой взялись. Не плакал он, только хрипел тихонько, и с каждым вздохом жизнь из него по капле уходила.

Фельдшер, из района присланный, только глаза прятал.

— Сухотка, — вынес он приговор. — Кровь сохнет, лекари тут бессильны. Готовься, бабонька.

Бабки деревенские, что сперва сутились, тоже попятнулись. Шептали, водой святой из колодца кропили, травы заговоренные клали. Да только вода святая со лба его, как с раскаленной печи, скатывалась, а травы вмиг чернели да в прах рассыпались, будто адским пламенем их лизнуло.

Тень смертная на лицо мальчонки легла.

Металась Анна по избе, белея от ужаса, пальцы в кровь кусая. Всё чистое, светлое да правильное от нее отвернулось. Небеса глухи остались. Одно в голове билось, отчаянием выжженное: спасти. Хоть бы и душу заложить.

В сумерках, когда дыхание Сашкино совсем оборваться норовило, стук в дверь тихий раздался. Глядь — на пороге дед Макар стоит, дурачок местный да пьянчужка, что век в колхозном сарае мыкался. Шагнул к порогу, а внутрь не идет.

— Светлая водица тут не подмогнет, девка, — прошамкал Макар, голосом сухим, ровно хворост ломается. — Чистое только чистое берет. А хворь его... не от Бога она. Из земли тянет. Марь проснулась, кровь свежую почуяла. Значится, и лечить землей надобно. Гнилью вытягивать.

Замерла Анна, глаза безумные вытаращила:

— Чего мелешь, старый? Уходи!

— На Марь ступай, — дед свое гнет, и в глазах его выцветших ясность древняя, стылая проступила. — Ищи Черное Окно. В самую топь иди, где вода аки деготь. Там Болотница сидит. Она забрала, она и возвернуть властна.

— В уме ли ты, дед?! — ахнула вдова, отшатываясь. — Утащит ведь, и косточек не същут! Нечисть это, сатанинское отродье, гниль!

— Гниль, — кивнул Макар, и лицо его судорогой свело. — Отвергнутая всеми. Крестом закрещенная. Да только в ней нонче — вся жизнь. Иди, девка. Смерть уже в избе, времени нет. Да запомни три правила, коли живой воротиться хошь: не проси. Не брезгуй. Не сомневайся. Отдай ей то, чего хочет. И тогда примешь солнце из самой страшной грязи.

Сгинул дед во тьме так же внезапно, как и появился. Анна на сына глянула — а тот вытянулся весь, веки дрожат. Отходит.

В полночь стояла Анна на краю Мари. Деревня за спиной спала под равнодушным лунным светом. А впереди, за пеленой тумана, чавкала да ворочалась тьма первородная. Пахло сыростью, метаном и тленом. Ветру нет, птица ночная и та молчит, злоба спящая тишину любит.

Шагнула баба с твердой земли прямо в жижу маслянистую. Вода ледяная в сапоги ливанула, кожу обожгла. Идет она, в пльвун по колено ухаю, за коряги склизкие, аки змеи, цепляясь. Каждый шаг — что на плаху.

Трясина вокруг нее ожила. Газ болотный с хлопком булькает, пар удушливый пускает. В гнилых корнях огни мертвенные вспыхивают — ровно глазищи нечисти из тьмы зыркают. Туман скручивается, мороки плетет. Мнится Анне, будто руки костлявые к ней тянутся, будто шепчет кто в камышах:

— Анна-а... Анна-а... Иди к на-а-ам...

Оступилась она, по пояс ухнула. Холодная гниль грудь сдавила, не продохнуть. Забурлило вокруг, мазнуло по ноге склизким, долгим. Вскрикнула Анна, назад бы кинуться, к свету, к людям! Да лицо сынки помирающего перед глазами встало. Сцепила зубы, ногтями за торфяные кочки уцепилась, вытянула себя из пасти болотной и дальше побрела. Ужас ночной вокруг нее сжимался, да отчаяние материнское сильнее страха было.

Вышла-таки к Черному Окну. Воронка то была круглая, огромная, а вода в ней — чернее сажи, ни луны, ни звезд не отражает. Туман здесь густущий стоял, а смрад такой, что дух вон.

Вдруг закипела вода в Окне, пошли волны тяжелые. Из самой глубины без шума поднялось Оно.

Не русалка из сказок то была — чудище. Тело как бочка раздутое, торфом да слизью зеленой покрытое. Космы — водоросли гнилые, червями кишачие. Вместо носа — провалы, а заместо глаз — бельма желтые, мутные, один голод стылый в них плещется. Иглы черные вместо зубов скалит. Смердит от нее так мясом гнилым да серой, что легкие выворачивает. Встала тварь над водой в два роста человеческих.

Потянула к Анне лапы свои перепончатые с когтями грязными. Слизь черная так и капает.

— За-а-ачем при-и-ишла, жива-а-ая? — проскрежетала Болотница, ровно сухой камыш о камень надгробный трется. Аж кости у Анны заныли. — Све-е-етлая... чи-и-истая... ненави-и-ижу. Утоплю-у-у... высосу-у-у жизнь... будешь гнить со мно-о-ой.

Взмахнула тварь лапой, и ударило Анну в лицо черной жижей. Глаза залепило, в рот тухлятиной потекло. Закашлялась девка, задыхаясь. А из трясины уж руки синюшные тянутся — утопленники со дна поднялись, подол рвут, за сапоги цепляют, на дно тянут.

Хотела Анна на колени пасть, завить, о пощаде молить. Рука сама к шее дернулась, крест нательный достать — последнюю защиту. Да сквозь морок и болотный шепот слова дедовы пробились: *«Не проси. Не брезгуй. Не сомневайся»*.

Поняла баба: крест тут не щит. Разозлит только, и конец Сашке. Тварь эта столетиями во тьме сидела, проклиная всеми светлыми да чистыми. Гнали ее святой водой да вилами. Копилась в ней ненависть к свету, что ее отверг.

Подавила Анна рвоту да страх смертный. Сделала шаг вперед, прямо в Черное Окно, в самую пучину. Вода ледяная по грудь встала, ребра сковала. Грязь глаза ест. Не думая, кого обнимает, раскинула баба руки да изо всех сил к чудищу прижалась.

Обняла Гниль. Лицом в плечо склизкое, струпьями покрытое, уткнулась. Вдохнула полной грудью смрад могильный. Сквозь слизь плоть ледяную, мертвую почувяла. И мертвяки вокруг враз хватку ослабили.

— Принимаю грязь твою, Мать-Марь, — шепчет Анна губами пересохшими, слезы с жижей болотной глотая. — Не надобна мне чистота Небес, коли в ней жизни для кровиночки моей нет. Дай мне тьму свою, коли в ней жизнь. Я не брезгую тобой. Я — твоя.

Замерла Болотница. Стихла топь гигантская. Тварь древняя, окромя вил да молитв ничего не знавшая, звук чудной издала — не то всхлип, не то бульканье нутряное. Лапы когтистые, что рвать хотели, на спину бабью медленно, бережно легли. Не обняла, да и не оттолкнула. Признала.

А после отстранилась чужь болотная. Сунула лапу огромную по самое плечо в черную воду, туда, где в иле кости тысячелетние лежат да проклятия спят. И вынула камень.

С кулак размером, кривой, на дикий янтарь похожий. Да только разжала когти — запульсировал в нем свет густой, багрово-золотой. Жар от него пошел, даже сквозь ледяную воду греет. То был «сейд болотный», газ да огонь нутряной, в торфяной смоле тысячелетиями выстоянный — «Гнилое Солнце». Семя жизни из самого сердца разложения, отвергнутое Небесами, но во тьме силу обретшее.

— При-и-иложи ко лбу-у-у, — прошелестела тварь, и в бельмах ее тоска блеснула. — И гря-а-азь... не смыва-а-ай. Покуда не вста-а-анет со-о-лнце.

Ушла Болотница под воду, без шума, лишь круги тяжелые пошли да пузыри метановые лопнули. Сгнули утопленники. Снова Марь болотом стала, злым, темным, да не жадным боле.

Анна, зажав камень горячий в пальцах закоченелых, черной слизью измазанных, назад кинулась. Проваливалась, падала, лицо в кровь об камыши драла, да боли не чувяла. Огонь в ней горел пуще болотного — огонь материнский.

Ворвалась в избу, дух болотный по всему дому пошел. Грязь с нее на пол чистый течет. Свеча у кровати оплыла. Сашка лежит не дышит. Тень смертная лицо его укрыла.

Не тратя слез, разжала Анна пальцы и впечатала Гнилое Солнце, жижей густо обмазанное, прямо в бледный лоб мальчика. Прижала крепко, смешала грязь болотную с потом смертным, как велено было.

Вспыхнул свет багровый, всю избу залил, свечу затмил. Жар нестерпимый пошел, да не обжег. Ушел свет под кожу, в крови иссохшей растворился.

Вдохнул мальчонка со свистом, выгнулся дугой в кровати, ровно от удара незримого, и очи открыл. Сошла муть смертная. Схлынула бледность, румянец густой, живой на щеках занялся. Сердце застучало — ровно, крепко.

Выжил. Жизнь, из гнили взятая, смерть поборол.

Смотрела Анна на сына, и по лицу ее чумазому слезы текли. Грязь на лбу мальчика коркой серой бралась, да не смела она ее трогать до самого рассвета, покуда солнце над лесом не показалось. Так и сидела, руку его сжимая, и вдыхала смрад болотный, что нонче запахом спасения для нее стал. А камень погас, в мутную смолу обычную обратился. Делу время — потехе час.

С той поры каждую осень, как Марь дышать тяжело начинала, злобой предзимней наливаясь, пекла Анна каравай свежий, медовый. И несла его на край болота. Оставляла на замшелом пне, била поклон до самой земли черной воде и уходила, не оборачиваясь.

Ибо ведала она теперь: иной раз Небеса глухи. Иной раз чистота — лишь саван белый. А чтоб вырвать родную кровь из лап могильных, истинная сила не на востоке, в лучах ясных встает. Иной раз надобно, гордыню да брезгливость отринув, голыми руками жизнь из самой страшной, уродливой да всеми проклятой грязи достать. Обнять ту грязь, чтоб право на чудо выкупить.

\*\*\*

Задувает Пряха свечу. В полумраке избы только угли в печи рдеют. Тянется из чугунной ступки её тонкая струйка пара от взвара травяного, тиной да болотом пахнущего.

Всё еще страшитесь бесов своих? Бойтесь того, что по темным углам души вашей прячется? Полно бегать-то. Обернитесь да в очи им гляньте. Примите их. Иной раз именно в самой уродливой, отвергнутой да гнилой части нутра вашего тот самый сгусток первородного огня тлеет. То самое Гнилое Солнце, что от смерти спасет, когда Небеса от вас отвернутся.

## Глава 3

### Хрустальный голод

Веретено Пряхи нонче идет туго, нить топорщится, рвется, узелки сами собой вяжутся — недобрый знак. Бросает в очаг сухой березовый лист да пригоршню жестких, как камни, ягод старого боярышника. Тяжелой ступкой давит белые, медовые метелки таволги. Городские-то дуралеи заваривают её, чтобы кровь по жилам разогнать, дух бодрить. Да не ведают они, пустоголовые, что истинная сила, терпкая горечь этого корня способна запереть душу в теле, привязать её крепко-накрепко к костям, чтоб не выскользнула, не улетела, когда из глубокой темноты позовут ласковые голоса.

Глупые люди, жадные до земных богатств, любят копаться в грязи. Ищут самоцветы, золото, руду железную. Они думают, простодырые, что горы — это просто груды мертвого камня, глина да щебень. Но Урал — не просто горы. Это Каменный Пояс земли, становой хребет, которым Явь от Нави перегороджена, чтобы нечисть не лезла в наш мир открыто. И под его неимоверной толщей, в сырых, глубоких карстовых пещерах, куда не проникает ни единый луч солнца, живут те, кого в старых сказах, крестясь, ласково и боязливо кличут «дивным народом».

Говорят в народе, будто они писанные красавцы, бают, что выходят они к людям с серебряными колокольчиками, судьбу добрую предвещая. Врут. Всё врут, чтобы страх задобрить.

Никогда не верьте сладким сказкам, что рассказывают у теплой печи. Истинный дивный народ не знает ни жалости, ни злобы, ни любви. Им чужда жажда крови — плоть человечья для них просто грязная глина, прах. Им не нужны ваши жилы, кости или мясо. Их сводит с ума другой голод, страшный, ненасытный. Голод по живому огню, по тому трепетному теплу, что бьется внутри каждого из нас. Им нужна душа.

Садитесь ближе к огню, не робейте, пока таволга дымит, отгоняя мороку. Пряха расскажет вам то, о чем не пишут в ученых книгах, чтобы не пугать до смерти тех, кто каждый день спускается в забой, в каменную пасть земли. Историю о хитниках, что докопались до звенящей пустоты.

\*\*\*

На Урале хитниками зовут тех лихих людей, кто моет золото да ищет самоцветы втайне от казны, в обход всяких законов. Народ это отчаянный, жадный до судорог, готовый ради жилы доброго аметиста или малахитовой почки самому черту душу продать, не торгуясь.

Собралась как-то артель из троих таких старателей. Пошли они в самую глухую тайгу, за дальний перевал, в такие крепи, куда и зверь-то дикий, лешим пуганный, сунуться не отважится. Места там старые, недобрые, деревья стоят кривые, мхом седым обросли. Три дня они продирались сквозь чащобу, пока не вышли к заброшенной, Демидовских еще времен, горной выработке. Вход в неё обвалился, зарос кустарником, но жадность — лучший путеводитель.

Начали они землю бить кирками, породу рвать аммоном. На пятый день тяжелых трудов кирка старшего в артели, угрюмого Матвея, с гулким уханьем провалилась в пустоту. Мужики переглянулись — повезло!

Расковыряли дыру пошире, пролезли внутрь с фонарями. Думали, старый штрек нашли, а попали в гигантскую пещеру. Да не простую, сырую да грязную, какие в горах сотнями встречаются. Вся эта пещера изнутри была покрыта бледным, молочным кварцем, словно льдом замерзшим. Тысячи кристаллов торчали из стен, с потолка, как зубы в пасти неведомого зверя.

И стояла в этой пещере тишина. Да не мертвая, спокойная тишина, а звенящая, напряженная, ровно натянутая струна. Матвей чувствовал этот звук не ушами, а костями, зубами.

Будто кто-то огромный, невидимый, стеклянный бокал мокрым пальцем по краю трет. Тонкий, высокий, зудящий звук, от которого кровь в жилах стынет, а в голове мутится.

Но хитникам не до звуков было. Фонарями светят — глазам своим не верят. Камни искрятся, жилы самоцветные толщиной в руку. У Матвея аж дух перехватило. Обрадовались мужики, мешки достали, за кайла схватились. Начали кварц этот, сокровища дивные, от скалы откалывать. Тяжелые удары кирки глухо отдавались в звенящей тишине.

А звон этот хрустальный становился всё громче, назойливее. Он уже не просто зудел, он проникал внутрь тела, вибрировал в легких, в позвоночнике. И вдруг один из мужиков, Степан, кайло из рук выронил. Оружие с грохотом упало на каменный пол, а сам Степан замер, выпрямился, уставившись в темноту глубины пещеры.

Матвей хотел его окликнуть, выругаться, да слова застряли в горле. Из глубины пещеры, из самого молочного, светящегося мрака, неспешно вышли *они*.

Было их пятеро. Высокие, тонкие, как камыш на болоте. Двигались они плавно, бесшумно, словно плыли по воздуху. Кожа у них была белая, полупрозрачная, будто из воска слепленная или из тончайшего фарфора — под ней ни синевы вен, ни красноты крови не видать, одна бледная пустота. Пальцы длинные, хрупкие, заканчивались острыми кристаллами. На узких лицах не было ни носов, ни ушей. А вместо глаз — гладкие, серые пластины слюды. Они были слепы в нашем понимании, но видели что-то, недоступное живому глазу.

Мужики от ужаса остолбенели, а потом, опомнившись, за ружья схватились — всегда с собой брали от зверья да лихих людей. Но дивьи люди не нападали. Они даже рук своих тонких не подняли. Они остановились в десяти шагах и просто открыли рты.

И Матвей содрогнулся. У них не было клыков, не было языка. У них вообще не было зубов — только черные, бездонные провалы, уходящие куда-то внутрь стеклянного тела. И из этих черных дыр полилась та самая песня-звон. Теперь она была невыносимой, яростной. Она сдираала волю, как кожу с живого, парализовала мысли.

Степан, стоявший ближе всех, дико закричал, поднял ружье и выстрелил. Бабах! Гулкий выстрел встряхнул пещеру. Крупная дробь ударила в грудь переднего уродца. Тот даже не пошатнулся. На восковой коже появилась россыпь мелких дырочек, но из них не вытекло ни капли крови, не выпали кишки. Только посыпалась сухая, мерцающая пыль, заблестевшая в свете фонаря. А звон стал еще громче, пронзительнее, он словно смеялся над человеческой попыткой сопротивления.

Дивьему народу не нужно рвать горло, не нужно душить. Их песня — это камертон для человеческой души. Ужас, который они внушали, был не телесным, а духовным. Звук этот входил в резонанс с самим стержнем человека, растворяя его.

Матвей с ужасом увидел, как Степан, только что стрелявший, вдруг выронил ружье. Оружие глухо ударилось о камень. Лицо Степана разгладилось, все морщины жадности и страха исчезли, глаза широко распахнулись, в них появилось блаженное, идиотское выражение абсолютного покоя. Он перестал быть человеком.

И тут начался истинный ужас. Из рта Степана, из самых глубин его легких, потянулся бледный, мерцающий пар — густой, переливающийся всеми цветами радуги, живой. Это была не кровь, не дыхание в холодном воздухе. Это была сама его суть, его воля, его память, его тепло. Вся его жизнь вытекала из него этим светящимся облаком. Дивье существо напротив него сделало глубокий, жадный вдох, втягивая этот пар в свой беззубый, черный рот со свистящим, хлюпающим звуком, напоминающим причмокивание сытой пивявки. Слюдяные пластины на лице существа на мгновение замерцали багровым светом.

Степан не упал. Он остался стоять, слегка покачиваясь. Но когда Матвей в безумном страхе осветил ему фонарем в лицо, он чуть не закричал. Степан дышал, его сердце билось, гоня кровь по жилам, но за серыми, остекленевшими глазами была абсолютная, гулкая

пустота. Взгляд его был устремлен в никуда. Это была мясная кукла, лишенная воли, страхов, любви и ненависти. Пустая порода. Оболочка, внутри которой больше ничего не было.

Третий артельщик, Васька, закричал не своим голосом и попытался бежать к выходу. Одно из дивных существ просто повернуло в его сторону свое безликое лицо и открыло рот пошире. Хрустальный звон ударил Ваське в спину. Он рухнул на колени, ружье выпало из рук. Матвей видел, как из спины Васьки, прямо сквозь одежду, потянулись мерцающие нити его души, всасываемые жадным беззубым ртом. Васька дергался, мычал, но сделать ничего не мог — его воля была выпита первой. Его тело начало быстро сереть, покрываться мелкой сеткой трещин, словно высыхающая глина, прямо на глазах теряя живое тепло.

Матвей понял — это конец. Жадность сгорела в пламени первобытного ужаса. Бросив мешок с кварцем, ружье и фонарь, он, подгоняемый сводящим с ума звоном, бросился в штрек. Он бежал в полной темноте, спотыкаясь о камни, падая, обдирая в кровь локти и колени, ломая ногти о шершавые стены. Бежал, не разбирая дороги, спиной, затылком чувствуя, как там, в молочном тумане пещеры, слепые, стеклянные твари неспешно допивают его товарищей, превращая их в пустые, холодные статуи. Позади него раздавались сухие хрусты — это, должно быть, ломались хрупкие, выпитые тела его друзей под тяжелыми шагами дивьего народа.

Он выбрался на поверхность уже на рассвете, грязный, окровавленный, безумный. Не помня себя от страха, он схватился за кайло, оставленное у входа, и начал бешено бить по подпоркам обветшавшего штрека. С оглушительным грохотом порода обрушилась, навсегда погребая вход в хрустальный ад и тела пустых людей.

Матвей вернулся в поселок через три дня. Он был седым как лунь стариком, с трясущимися руками и глазами, в которых навсегда поселился ужас. Никто ему не поверил. Сказали — белая горячка старательская приключилась на почве жадности. Решили, что он порешил подельников из-за золота, а трупы спрятал в тайге. Его судили, да за неимением улик отпустили.

Но Матвей так и не оправился. Он жил отшельником, сторонился людей. Иногда, тихими зимними ночами, когда мороз трещал за окном, а тайга замирала, Матвей просыпался от того, что где-то глубоко, под самыми половицами его старой избы, тонко-тонко, едва слышно, звенел хрусталь. Звук этот вибрировал в воздухе, заставляя воду в кружке покрываться рябью. И он знал: они не забыли вкус его теплой, живой души. Они идут по его следу, просачиваясь сквозь камень, медленно, верно. И когда-нибудь, когда огонь в его очаге погаснет, они дойдут.

\*\*\*

Пряха-Хранительница завязывает на нити тугой, жесткий узел, словно запечатывая страшный сказ, и откладывает веретено в сторону. Чад от таволги в избе сгустился, тени по углам зашевелились, принимая причудливые, пугающие очертания.

Вот такие сказы таятся в каменном, холодном брюхе нашего Севера. Здесь не бывает вампиров в бархатных плащах и с бледными лицами, что пьют кровь. Наша хтонь куда страшнее, ибо отнимает она не жизнь тела, а саму искру Божию, то, ради чего стоит дышать и топтать эту землю. Оставляет лишь пустую породу, ходячий мертвецов.

## Глава 4

### О третьем паре

Веретено Пряхи-Хранительницы крутится медленно, с тягучим, надсадным скрипом. Нить из-под пальцев выходит толстая, сальная, ворсистая. Пахнет она прелым березовым листом, прелой землей да закисшим хмелем. Вяжет она на ней тугие, глухие узлы, пальцы в кровь стирая, чтобы удержать то зло, что рвется наружу из-под гнилых досок.

Городские-то нынче как удумали? Баня для них — что место для потехи. Приехать на выходные из своих каменных коробок, водки в три горла нажраться, девок румяных потискать да в снег чистый голышом с визгом прыгнуть. Забыли совсем, что баня — это самое нечистое, самое страшное место на всем крещеном свете.

В бане отродясь икон по углам не вешали. Перед низким порогом крест нательный с шеи снимали, Богу снаружи молились. Баня — она ведь не для мытья одного. Там бабы в муках рожали, кровь новую в мир пуская. Там покойников стылых обмывали, в последний путь снаряжая. Там девки по святкам о суженом, да о смерти ранней гадали. Это чистая, как слеза, граница между Явью и Навью. Место, где человек стоит голый, мокрый и совершенно беззащитный перед тем, кто испокон веков живет под жарким полком.

Банник — а в иных краях его Обдерихой кличут — дух тяжелый, парной, лютый. Он не леший, по лесу кругами водить да путать не станет. Ему твои ноги резвые не надобны, ему плоть твоя нужна. Да покорность.

Закон-то банный старый, как сама земля-матушка: первый пар — для хозяев дома, второй — для гостей пришлых. А после полуночи, на третий пар, когда петухи еще спят, в баню мыться идут духи, черти лохматые, да сам Хозяин парится. Оставишь ему по-хорошему водицы чистой в тазу да обмылок, веник нетрепанный положишь, поклонись — не тронет, еще и хворь выгонит. А коли полезешь в его законный час, да еще по пьяному делу, да с матерной скверной бранью...

Садитесь-ка поближе к огню. Чай в кружках ваших сегодня терпкий, темный, с чабрецом да зверобоем заваренный, горечью полынной отдает. Слушайте, что бывает в суровых краях, если в чужую парную со своим глупым уставом да пьяной глоткой заявиться.

\*\*\*

Кузбасс — край жесткий, углем да сажей копченый. Там мужики в шахтах под землей каждый день в глаза смерти смотрят, оттого на поверхности гуляют широко, громко, страха не ведая.

Сняла как-то компания таких вот крепких мужиков, человек пятеро, смену тяжелую отпраздновать дом с банькой. Далеко сняли, на самом отшибе, где поселок кончается и тайга черная, глухая подступает. Хозяин того подворья, дед сухой, жилистый, ровно жердь еловая, ключи им отдал, деньги смятые в карман сунул, а на пороге обернулся. Посмотрел он своими выцветшими глазами на звенящие пакеты с выпивкой, на морды их веселые, и сказал глухо, без усмешки:

— В избе пейте, хоть залейтесь, хоть на головах ходите. А в баню с пойлом не суйтесь. Каменка чистоту любит, от хмельного духу бесится. И запомните крепко, робяты: как часы двенадцать пробьют — чтоб духу вашего, ни единой волосинки в парной не было. Дверь на засов заложите, в тазу воду свежую оставьте. Ночью там Хозяин парится. Ослушаетесь — пеняйте на себя, я вас упреждал.

Мужики только поржали в голос. Какой еще Хозяин, дед? Двадцать первый век на дворе, спутники в небе летают, а ты всё сказками бабкиными пугаешь!

Ушел дед. Затопили они баньку жарко, на совесть. Мороз на дворе под сорок градусов давит, деревья трещат, а внутри — благодать, жар костей ломит. Ну и, ясное дело, не утерпела душа шахтерская. Потасили в предбанник пиво бутылочное, водку белую, воблу соленую. Кресты с шей снимали, на лавку кинули. Распарились, захмелели крепко. Мат-перемат коромыслом стоит, гогот на весь темный лес разносится.

Время к полуночи близится. Один из них, Колька, бугай здоровенный, самый разгоряченный да пьяный, хватается железный ковш, наливает в него пива до краев и в парную лезет, где жар уже такой, что уши в трубочку сворачиваются.

— Ща мы, братцы, хлебного духу дадим! Париться так париться! — орет Колька диким голосом.

И с маху плеснул хмельную, пенную жижу прямо на раскаленные, красные камни.

Каменка не зашипела мягко, как от чистой воды бывает. Она утробно, злобно харкнула. Рывкнула так, что пол дрогнул. И вырвался из неё густой, желтый, вонючий пар. Запахло вдруг не хлебом, а жженым человеческим волосом, серой да гнилой, мокрой соломой. Мужиков, что на полке сидели, как ветром ледяным сдуло — дышать нечем, глаза режет до слез, горло спазмом сводит.

Выскочили они в предбанник, голые, красные, кашляют, ругаются, воздух ртами хватают.

— Ну его к лешему, угорели совсем! — хрипит один, глаза кулаками трет. — Пошли в избу, мужики, там допьем, ну ее, эту парилку проклятую.

Оделись кое-как, пошли. А Колька уперся в дверном проеме, глаза стеклянные, пьяные:

— Куда?! Я еще попарюсь! Жар самый сок пошел! Идите, слабаки городские, я вас догоню!

И дверь за собой в парную плотно, с глухим стуком захлопнул. Засов изнутри брякнул.

В избе мужики допили, что оставалось, развезло их в тепле, и повалились они спать. Про Кольку и не вспомнили до утра — мало ли, уснул дурак в предбаннике на лавке, здоровый же лось, не замерзнет.

А поутру продрали глаза, хватились — нет Кольки в избе. Пошли в баню. Дверь открыта настежь. В предбаннике одежда Колькина лежит аккуратной, неестественно ровной стопочкой сложенная. Портки, рубаха, свитер. И даже крестик его серебряный, что он вечером снял, поверх рубахи бережно, ровно посередочке положен.

А самого Кольки нет. Ни в парилке, ни в предбаннике. Выскочили на крыльцо. Вокруг бани снег первозданный, белый, пушистый, за ночь напавший. И ни единого следочка босых ног от крыльца не ведет. Испарился мужик. Словно и не было его.

Искали три дня. Служивых вызвали, с собаками лес прочесали. Собаки до бани доходят, шерсть на загривке дыбят, скулят и на задницу садятся — не идут дальше. Пусто. Решили, что по пьяной лавочке ушел Колька в тайгу по нужде да замерз где-нибудь под валежником, а ночной буран следы и замел.

На четвертый день приехал дед, хозяин, баню прибирать да запирать. Открыл дверь в предбанник — и шарахнулся, крестясь. Из парной стоял сладковатый, тошнотворный, тяжелый дух вареного мяса и застарелой, запекшейся крови. Дед нос рукавом зажал, зашел внутрь. На полках чисто, ни кровинки, в тазах сухо. А страшный дух снизу идет. Прямо из-под пола.

А половицы в той бане были не чета нынешним. Из толстенной лиственницы, сороковки, что от воды только крепче становится. Гвоздями коваными намертво к толстым лагам прибиты, без щелей подогнаны. Дед за фомкой пудовой сходил, подцепил доску у самого порога, навалился всем своим сухим весом. С жутким треском вырвал заржавевшие гвозди, что там три десятка лет сидели. Оторвал доску.

Там Колька и был.

В узкой, темной щели между мерзлой, ледяной землей и половыми досками. В щели, куда и кошке-то тощей не пролезть.

Он был расплющен. Раздавлен так, словно его прессом чугунным туда вогнали. Руки и ноги вывернуты под невысказанными, страшными углами, суставы порваны, кости сложены плотно, аккуратно, как дрова в поленнице. Лицо вмято в мерзлую глину. А кожа... Кожа на нем была багровая, с лопнувшими пузырями, обваренная в крутой кипяток до самого мяса.

Служивые люди потом долго головы ломали, фуражки чесали. Доски пола были целые, гвозди старые, нетронутые. Ни следа взлома. Чтобы тяжелое мужское тело туда засунуть, нужно было полбани по бревнышку разобрать, а потом заново собрать так, чтоб ни щепочки, ни пылинки не сдвинулось. Ни один человек на свете так не сможет.

А человек и не смог бы.

Банник ведь не убивает ножом или топором. Банник просто перестраивает свое жилище. Ты пришел в его дом с грязью и неуважением? Ты плеснул ему в лицо вонючим пойлом в его законный, третий пар? Значит, ты больше не гость. Ты — строительный материал. Утеплитель мясной для гнилых досок, чтоб по полу зимой не дуло.

Сказывают, в той бане после этого ни один человек мыться не стал. Дед продал сруб за бесценок на дрова. Да только когда те листовничные доски в печи горели, они не смолой хвойной пахли. Они чадили жареным мясом да кислым, прогорклым пивом, заставляя хозяев окна в лютый мороз открывать.

\*\*\*

Пряха останавливает веретено, кладет на колени моток серой пряжи и смотрит прямо в глаза, не мигая.

Вот так-то. Как в следующий раз в парную пойдете кости греть, да пиво на раскаленные камни плеснуть для хлебного духу задумаетесь — прислушайтесь сперва. Не скребется ли кто снизу, под толстыми половицами? Не ждет ли он, суча когтями, когда часы двенадцать пробьют, чтобы забрать того, кто не чтит чужого дома?